

Федор Буслаев

**Письма русского  
путешественника**



# Федор Иванович Буслаев

## Письма русского путешественника

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=18956845](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18956845)*

### Аннотация

«Первый столетний юбилей нашего великого прозаика имеет свое особенное значение. Торжество это не может быть только воспоминанием о важном литературном деле, положенном в основу русской народности; потому что дело это – не отошедшая старина, вообще дорогая для национального чувства, но один из насущных элементов современного русского просвещения, который не перестал еще оказывать свою живительную силу в каждом из нас, здесь собравшихся. Поколения старшие еще чувствуют на себе всю обаятельную свежесть непосредственного действия этой гармонии мыслей и звуков, которою Карамзин на их памяти пленял своих соотечественников; поколения младшие учились и теперь еще учатся мыслить и выражать свои мысли по его сочинениям, на которых и доселе основываются и русский синтаксис, и русская стилистика: так что если бы я думал изложить перед вами заслуги Карамзина в этом отношении, то мне пришлось бы сделать перечень параграфов учебника, с указанием, насколько каждый из них подчинен влиянию Карамзина...»

# Содержание

# Федор Буслаев

## Письма русского путешественника

1

Первый столетний юбилей нашего великого прозаика имеет свое особенное значение. Торжество это не может быть только воспоминанием о важном литературном деле, положенном в основу русской народности; потому что дело это – не отошедшая старина, вообще дорогая для национального чувства, но один из насущных элементов современного русского просвещения, который не перестал еще оказывать свою живительную силу в каждом из нас, здесь собравшихся. Поколения старшие еще чувствуют на себе всю обязательную свежесть непосредственного действия этой гармонии мыслей и звуков, которою Карамзин на их памяти пленял своих соотечественников; поколения младшие учились и теперь еще учатся мыслить и выражать свои мысли по его сочинениям, на которых и доселе основываются и русский синтаксис, и русская стилистика: так что если бы я думал изложить перед вами заслуги Карамзина в этом отношении, то мне пришлось бы сделать перечень параграфов учебника,

---

<sup>1</sup> Сказано в Московском университете 1 декабря 1866 г. на столетнем юбилее дня рождения Карамзина.

с указанием, насколько каждый из них подчинен влиянию Карамзина.

Но я нахожу неуместным подробностями критических исследований о языке и слоге удалить от вашего внимания живой образ того, память о котором мы празднуем. Лучшее всего удовлетворило бы общему желанию жизнеописание Карамзина с подробными выдержками из его сочинений; но этот предмет не вместим в пределах моего настоящего чтения. Ограничиваясь немногим, я избираю из жизни Карамзина только полтора года – знаменательное время перехода от молодости к зрелому возрасту, когда определилась нравственная и литературная физиономия писателя, именно 1789–1790 гг., описанные им самим в «Письмах Русского Путешественника».

Опасаясь умалить заслуги автора, ныне чествуемого, я не решаюсь назвать эти «Письма» лучшим из его собственно литературных произведений; однако, кажется, не обинуясь могу утверждать, что, после «Истории Государства Российского», они более прочих его сочинений оказали свое действие на образование русской публики, оказывают и теперь, составляя одно из лучших украшений всякой хрестоматии русской словесности.

Своими письмами из-за границы Карамзин впервые внес в нашу литературу самые обстоятельные сведения о европейской цивилизации, которые были тем наставительнее, что относились к последним годам прошлого столетия, когда гос-

подство французского направления стало уступать новым идеям, продолжившим свое развитие и в первой половине текущего столетия; так что – «Письма Русского Путешественника» даже в период деятельности Пушкина не теряли своего современного значения, частью имеют они его и теперь, потому что в них впервые были высказаны многие понятия и убеждения, которые сделались в настоящее время достоянием всякого образованного человека.

Необычайная цивилизующая сила этих писем, кроме высокого дарования и обширных сведений автора, много зависела от самой формы этого рода сочинений. Вместо схематических трактовок об истории и статистике западных народов, о их литературе, искусстве и науке, перед читателями постоянно является симпатическая личность русского человека, высокообразованного, насколько это было возможно в конце прошлого столетия, и в высшей степени впечатлительного и даровитого, который с каждым шагом на своем пути созревает, неутомимо учится и из книг, и из бесед со знаменитостями того времени и по мере успехов – передает плоды своего развития своим немногим друзьям, круг которых должен был расшириться на всю читающую русскую публику, как скоро были изданы в свете «Письма Русского Путешественника»; и многочисленные читатели их по всем концам нашего отечества нечувствительно воспитывались в идеях европейской цивилизации, как бы созревали сами вместе с созреванием молодого русского путешествен-

ника, учась смотреть на образование его глазами, чувствовать его благородными чувствами, мечтать его прекрасными мечтами.

Если русская литература, со времен Петра Великого, довершая дело преобразования, имела свою задачу внести к нам плоды западного просвещения, то Карамзин блистательно исполнил свое назначение. Он воспитал в себе человека, чтобы потом, с полным сознанием, явить в себе русско-го патриота. Любовь к человечеству была для него основой разумной любви к родине, и западное просвещение было ему дорого потому, что он чувствовал в себе силу водворить его в своем отечестве.

Стремясь на Запад учиться для блага своего отечества, он шел по пути, проложенному Петром Великим и Ломоносовым, и в свою очередь дал собою образец поколениям новейшим, оставив им из своего опыта такое завещание: «Нигде *способы учения* не доведены до такого совершенства, как ныне в Германии: и кого Платнер<sup>2</sup>, кого Гейне<sup>3</sup> не заставит полюбить науки, тот, конечно, не имеет уже в себе никакой способности».

Представители нации всегда имеют в себе нечто типичное, образцовое: как идеал, господствуют они в умах своих соотечественников, направляя их мысли и действия.

---

<sup>2</sup> Платнер Эрнест (1744–1818) – немецкий антрополог и философ.

<sup>3</sup> Имеется в виду Кристиан Готлоб Гейне (1729–1812) – ученый, профессор античной философии в Геттингене.

Полагая своею задачей – возобновить в нашем воображении, милостивые государи, память о Карамзине по его путевым запискам, я буду сколько возможно ближе держаться данных, сообщенных о себе им самим, и ограничу свое дело только приведением этих данных в немногие группы, оставаясь в полной уверенности, что приводимые мною слова самого Карамзина будут лучшим украшением чтения, назначаемого для торжественного о нем воспоминания.

Прежде всего поражает в «Письмах Русского Путешественника» многосторонняя и основательная образованность, которую могла дать ему Россия в конце прошлого столетия и в которой он нашел достаточное приготовление, чтобы не только вести полезную для себя беседу с такими европейскими знаменитостями, как Виланд<sup>4</sup>, Гердер, Лафатер, Кант, Боннет, но и внушить им уважение к нему.

В этих же письмах из-за границы Карамзин сообщает много подробностей о годах своего раннего учения, подробностей, которыми не раз пользовались его биографы.

Имя Парижа стало Карамзину известно почти вместе с его собственным именем: так мною читал он об этом городе в романах, так много слышал от путешественников; по романам же и газетным статьям еще в ранней молодости восхищался англичанами и воображал Англию самую приятнейшею для своего сердца землею. Видеть Париж и Лондон – всегда было его мечтою; и некогда сам он собирался писать

---

<sup>4</sup> Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) – немецкий писатель Просвещения.



роман и в воображении объездить те самые земли, в которые после поехал. Потом детские мечты заменились основательным желанием: он хотел провести свою юность в Лейпциге: туда стремились его мысли; в тамошнем университете хотел он собрать нужное для искания той истины, о которой – по его собственному выражению – с самых младенческих лет тоскует его сердце.

Разделяя вкусы своих современников, он коротко был знаком с французскими писателями XVIII столетия и поклонялся Жан-Жаку Руссо; но вместе с тем уже с ранних лет привык он уважать и литературу немецкую и английскую; так что, когда в чужих краях ему случилось предстать перед знаменитыми личностями того времени и видеть знаменитые предметы, он не только не поражался новизною, но, как давно знакомое и любимое, соединял виденное и слышанное со своими воспоминаниями. В Лондоне осматривает он картины с сюжетами из шекспировских драм, и, уже зная твердо Шекспира, почти не имеет нужды справляться с описанием в каталоге, и, смотря на картины, угадывает содержание. В Лозанне, в одном саду, видит надпись, взятую из Аддисоновой оды<sup>5</sup>, и при этом вспоминает, как некогда про-

---

<sup>5</sup> Ода Аддисона, «в которой Поэт благодарит Бога за все дары, принятые им от руки Его – за сердце, чувствительное и способное к наслаждению – и за друга, верного, любезного друга! <...> Сия ода напечатана в Английском Зрителе. Некогда просидел я целую ночь за переводом ея, и в самую ту минуту, когда написал последние два стиха: И в самой вечности не можно Воспеть всей славы Твоея! Восходящее солнце осветило меня первыми лучами своими. Это утро было

сидел он целую летнюю ночь за переводом той самой оды и как восходящее солнце осветило его тогда за такую работой. «Это утро, – присовокупляет молодой путешественник, – было одно из лучших в моей жизни». В Лейпциге он знакомится с известным в то время литератором Вейсе<sup>6</sup>, статьи которого из «Друга детей» он уже переводил прежде. В Цюрихе отыскивает архидиакона Тоблера<sup>7</sup>, имя которого ему хорошо было знакомо по переводу Томсоновых «Времен года», изданных Геснером<sup>8</sup>. В том же городе является к Лафатеру, с которым он был в переписке еще в Москве и который принимает его, как старого друга. В Париже несколько не удивляет его французский театр, потому что, как он по этому предмету выразился: «Я и теперь не переменил мнения своего о французской Мельпомене<sup>9</sup>: она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза Шекспирова и некоторых (правда немногих) немцев».

Самый план молодого русского путешественника во всех городах Европы лично знакомиться со знаменитыми литераторами того времени был столько же результатом его об-

---

одно из лучших в моей жизни!» (*Карамзин Н. М. Письма русского путешественника*. Л., 1984. С. 148).

<sup>6</sup> Вейсе Кристоф Феликс (1726–1804) – немецкий писатель, журналист.

<sup>7</sup> Тоблер Иоганнес (1732–1808) – швейцарский поэт и переводчик.

<sup>8</sup> Геснер Соломон (1730–1788) – швейцарский писатель-идиллик и художник.

<sup>9</sup> Мельпомена – в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница трагедии; символ сценического искусства.

ширной образованности, сколько и поверкою ее, строгим испытанием. «Ваши сочинения заставили меня любить вас, – говорит он Виланду в Веймаре, – и возбудили во мне желание узнать автора лично». «Вы видите перед собою такую человека, – так он представился в Женеве Боннету, автору „Палингенезии“, – который с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения и который любит и почитает вас сердечно». И везде был радушно встречаем молодой русский путешественник, везде был приветствуем, не только как человек просвещенный, но и как достойный представитель своих соотечественников. «Я – русский, – говорил он Бартеlemi в Парижской Академии надписей, – читал „Анахарсиса“; умею восхищаться творениями великих, бессмертных талантов. Итак, хотя в нескладных словах, примите жертву моего глубокого почтения». Он встал с кресел, продолжает Карамзин, взял мою руку, ласковым взором предуведомил меня о своем благорасположении и наконец отвечал: «Я рад нашему знакомству; люблю север, и герой, мною избранный, вам не чужой». – «Мне хотелось бы иметь с ним какое-нибудь сходство. Я в академии: Платон передо мною; но имя мое не так известно, как имя Анахарсиса». – «Вы молоды, путешествуете, и, конечно, для того, чтобы украсить ваш разум познаниями: довольно сходства».

Заинтересованный Россиею и ее литературой, Лафатер предлагал Карамзину, чтоб он выдал на русском языке извлечение из его сочинений. «Когда вы возвратитесь в Моск-

ву, – сказал он Карамзину, – я буду пересылать к вам через почту рукописный оригинал», а когда наш путешественник оставил Цюрих, автор «Физиономики» снабдил его одиннадцатью рекомендательными письмами в разные города Швейцарии и уверил его в неизменности своего дружеского к нему расположения. В Женеве Карамзин сообщил свое желание Боннету тоже перевести на русский язык его «Созерцание природы» и «Палингенезию», и в письме от него получил такой ответ: «Автор будет вам весьма благодарен за то, что вы познакомите с его сочинениями такую нацию, которую он уважает», а когда после того Карамзин пришел к нему: «Вы решились переводить „Созерцание Природы“, – сказал он, – начните же переводить его в глазах автора и на том столе, на котором оно было сочиняемо. Вот книга, бумага, чернильница, перо». Даже сам Виланд, который сначала принял Карамзина холодно и надменно, потом до того с ним сблизился, что на расставании просил его, чтобы он хотя изредка писал к нему письма: «Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были». В Кенигсберге Карамзин беседует с великим Кантом о будущей жизни и удивляется обширным историческим и географическим познаниям философа; в Лейпциге для изучения эстетики входит в личные сношения с профессором Платнером; в Веймаре беседует с Гердером об античной литературе и искусстве и о Гете; в Лионе сводит дружбу с Маттисоном<sup>10</sup>, известным того времени

---

<sup>10</sup> Маттисон Фридрих (1761–1831) – немецкий поэт.

немецким поэтом.

Русский путешественник отправился на Запад с определенной целью – довершить свое образование в так называемых *изящных* науках, которым он, по его собственному признанию в Лейпциге профессору Платнеру, себя посвящает, то есть, с точки зрения литературы и искусства, Карамзин интересовался вообще европейскою цивилизацией.

Как ни обширен был круг литературного образования Карамзина, все же сосредоточивался он на Франции. В то время Баттё и Лагарп были для всех наставниками в литературе; Вольтер и Жан-Жак Руссо еще господствовали над умами, хотя и безусловно. Русский путешественник слышал о французских классиках уже неблагоприятные отзывы в самом Париже, слышал, как любимый им философ Боннет называл Жан-Жака только ритором, а его философию воздушным замком; и, однако, сила времени и привычки так велика, что Вольтер и Руссо были главными руководителями его убеждений.

С благоговейным вниманием ученого археолога, посещающего римские развалины, русский путешественник посещал и исследовал места, где жили и откуда поучали своими творениями весь свет эти два знаменитые французские писателя.

Не увлекаясь крайностями в учении Вольтера, Карамзин отдает ему справедливость в том, «что он (слова Карамзина) распространил сию взаимную терпимость в верах, кото-

рая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие», которое наш путешественник видит в католических монастырях, называя их жилищем фанатизма, наполненным страшилами, основанным учредителями, которые худо знали нравственность человека, образованную для деятельности; издевается над католическими реликвиями и над иконами Богородицы, изображающими портреты известных прелестниц. Согласно с этими воззрениями, он вообще не любит Средних веков и готического стиля; хотя и признает в нем смелость, но видит в нем бедность разума человеческого; в барельефах Страсбургского собора<sup>11</sup> замечает только странное и смешное, а мысль и работу барельефов Дагоберовой гробницы<sup>12</sup>, с изображениями известной легенды о борьбе Св. Дионисия с дьяволами за душу Дагобера, признает достойными варварских времен, какими он полагает Средние века. С тем же изысканным вкусом француза XVIII в. относится он к старинной литературе. Мистерии и народные драмы для него – глупые пьесы; Чосер<sup>13</sup> – писал неблагопристойные сказки; Рабле<sup>14</sup> – автор романов, «наполненных остроумными замыслами, гадкими описаниями, темными аллегориями и нелепостью»; даже Эразмова<sup>15</sup> «По-

---

<sup>11</sup> Готический собор XIII–XV вв.

<sup>12</sup> Дагобер (622–688) – франкский король.

<sup>13</sup> Чосер Джеффри (1340–1400) – английский поэт.

<sup>14</sup> Рабле Франсуа (ок. 1494–1553) – французский писатель.

<sup>15</sup> Эразм Роттердамский (1466–1536) – нидерландский гуманист, автор сатиры

хвала Глупости» – по Карамзину: «Дурачество», – несмотря на некоторое остроумие, книга довольно скучная для тех, «которые уже читали сочинения Вольтеров и Виландов осьмаго-на-десять столетия».

И вместе с тем Карамзин находил вполне согласным со своею теорией вкуса любоваться холодными аллегорическими изображениями Натуры и Поэзии, которые льют слезы на надгробную урну Гесснера, или Бессмертия, Храбрости и Мудрости на монумент Тюреня<sup>16</sup>, а чудом искусства признавал Магдалину Лебрюна<sup>17</sup>, потому что в ее виде художник изобразил герцогиню Лавальер. Таково еще было обаяние этой крайне условной, но обольстительной для глаз роскоши изнеженного искусства, что самым удобным находили тогда переводить свои ощущения на язык античной мифологии. В булонской вилле графа д'Артуа<sup>18</sup>, на картинах улыбалась Карамзину сама любовь, а в альковах мечтались аллегорические восторги; на развалинах рыцарских замков воображалась ему сидящая богиня меланхолии, и в безмолвной роще не шутя взывал он к античному Сильвану.

Однако, как человек нового направления, русский путешественник уже не вполне довольствовался ложным клас-

---

«Похвала глупости».

<sup>16</sup> Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь (1611–1675) – французский маршал.

<sup>17</sup> Лебрюн (Лебрен) Шарль (1619–1690) – французский художник.

<sup>18</sup> Артуа Шарль д' (1757–1836) – внук Людовика XV, глава монархической эмиграции, впоследствии французский король Карл X.

сицизмом, предпочитал античную скульптуру французской и с Павзанием<sup>19</sup> в руках решался находить недостатки в произведениях Пигаля<sup>20</sup>. Он уже знал, и из бесед с Гердером убедился, что немцы лучше других народов понимают классическую древность: «И потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне (это слово Карамзина) немцы свою литературу. Гомер у них Гомер: та же искусственная и благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим баранам».

Еще сильнее заметно освобождение Карамзина из-под французского влияния в его суждениях о поэзии драматической, которыми он был обязан изучению Шекспира и немецких писателей. К концу прошлого столетия великий британский драматург был оценен по достоинству; произведения его игрались на театрах в Англии, Германии и даже, в плохих переделках, во Франции; в Лондоне была основана «Шекспирова галерея», составленная из картин, сюжеты которых взяты из драм Шекспира. В какой город Германии Карамзин ни приезжал, везде мог видеть на сцене произведения новой немецкой драмы, столько отличные от классической французской. В Берлине при нем играли драму Кюцебу «Ненависть к людям и раскаяние» и Шиллерову трагедии

---

<sup>19</sup> Павзаний (Павсаний; II в. до н. э.) – греческий историк и географ.

<sup>20</sup> Пигаль Жан-Батист (1714–1785) – французский скульптор.



дию «Дон-Карлос». Я не буду приводить восторженных похвал Карамзина Шекспиру, столько известных и в настоящее время вполне оправданных; но для характеристики тонкого эстетического вкуса нашего путешественника не могу миновать следующий его отзыв: «Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру, и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть».

Воззрения, противоположные ложному классицизму XVIII столетия и более согласные со вкусом нашего времени, у Карамзина имели характер еще односторонний, будучи приведены в одну систему с господствовавшей тогда теорией Жан-Жака Руссо о неограниченных правах природы над человеком. Всякая цивилизация, а следовательно и античная, должна уступать этим всемогущим правам: и Карамзин в характеристике произведений Рафаэля<sup>21</sup>, Джулио Романо<sup>22</sup>, Рубенса<sup>23</sup> и других живописцев, отдавая предпочтение тем из них, которые более следовали природе, нежели антикам, не только говорит правду вообще, но и, в частности, как человек своего времени, мирит свой вкус с теорией Руссо.

---

<sup>21</sup> Рафаэль Санти (1483–1520) – итальянский живописец и архитектор.

<sup>22</sup> Джулио Романо (1492 или 1499–1546) – итальянский архитектор и живописец.

<sup>23</sup> Рубенс Питер Пауль (1577–1640) – прославленный фламандский художник.

Этот же теорией оправдывался в живописи господствовавший тогда ландшафт, а в литературе – описательная, или, как называет ее Карамзин, «живописная» поэзия, отечеством которой он полагает Англию. Французы и немцы, говорит он, переняли сей род у «англичан, которые умеют замечать самые мелкие черты в природе. По сие время ничто еще не может сравняться с Томсоновыми „Временами года“: их можно назвать зеркалом натуры». Эта поэзия, объясняемая философиею Жан-Жака Руссо, давала нашему молодому путешественнику неиссякаемый источник сентиментальных восторгов при созерцании красот природы. Потому так любил он Швейцарию, в которой, по его выражению, «все, все забыть можно, все, кроме Бога и натуры». Самое искусство казалось ему ничтожною игрушкой перед явлениями природы. «Что значат все наши своды перед сводом неба? – восклицает он, остановившись под куполом Св. Павла в Лондоне. – Сколько надобно ума и трудов для произведения столь неважного действия? Не есть ли искусство самая бесстыдная обезьяна природы, когда оно хочет спорить с нею в величии?»

По теории Карамзина, человек создан наслаждаться и быть счастливым. Источник счастья – природа, которая дает всему созданному вместе с бытием и наслаждение им. Союзы семейный и общественный потому нам дороги и милы, что основаны на природе. Самая смерть, как явление естественное, прекрасна, и ужас смерти бывает следствием на-

шего уклонения от путей природы.

Своим действием на счастье человека искусства дополняют природу. Все прекрасное радуется, в какой бы форме оно ни было. В мире нравственном прекрасна добродетель: «Один взгляд на доброго есть счастье для того, в ком не загрубело чувство добра». Религия ведет людей к добру и делает их лучшими. Декарт велик потому, что «своим нравоучением возвеличивает сан человека, убедительно доказывая бытие Творца, чистую бестелесность души, святость добродетели». В этих истинах молодой русский путешественник укреплялся, беседуя с Кантом, Гердером, Лафатером, Боннетом, находил доказательства в своем собственном сердце и в радостях, доставляемых природою и искусством, и, наконец, насладился немалым удовольствием в жизни, когда «опершись на монумент незабвенного Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал о бессмертии».

Милостивые государи, вы, без сомнения, ожидаете, чтоб в характеристике русского путешественника я коснулся одной крупной черты, которая, как живительный луч, освещает приветливым светом все его путевые впечатления, все его думы, надежды и мечтания. Это – самая горячая любовь его к родине, мысль о которой никогда его не покидает. Беседует ли он с Виландом о литературе, он не преминет сказать, что и на русский язык переведены некоторые из важнейших его сочинений. Веселится ли с лейпцигскими профессорами за бутылкою вина, он сообщает им, что и на русский язык пе-

реведено десять песен «Мессиады» Клопштока<sup>24</sup>, и, чтоб познакомить их с гармониею нашего языка, читает им русские стихи. Вслушивается в мелодии швейцарских песен и ищет в них сходства с нашими народными, «столько для него трогательными». В Лондоне изучает английский язык и приходит к убеждению в превосходстве перед ним языка русского. «Да будет же честь и слава нашему языку, – восклицает он, – который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет, как гордая, величественная река – шумит, гремит – и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса».

Если русский путешественник всегда являлся перед иностранцами самым усердным, красноречивым и ловким адвокатом за Россию, то потому именно, что искренно убежден был в ее достоинствах. Во многом давал он ей предпочтение даже перед самою Англией, благосостоянием и устройством которой он столько восхищался, и несравненно выше Людовика XIV ставил Петра Великого, которого – говорил он – «почитаю как великого мужа, как героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля». В преобразованиях Петра он видел разумное примирение любви к родине с любовью ко всему цивилизованному человечеству.

---

<sup>24</sup> Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) – немецкий поэт.

Будущий автор «Истории Государства Российского» посетил Западную Европу, когда во Франции зачинался громадный переворот, который должен был потрясти всю Европу. Карамзину суждено было прожить три месяца в Париже, в роковой период времени между штурмом Бастилии и казнью французского короля.

Был ли молодой русский путешественник настолько подготовлен, чтоб уразуметь открывавшийся на его глазах новый порядок вещей? Находил ли он в себе самом нравственную опору, чтобы руководствоваться твердыми убеждениями, когда все кругом его расшатывалось и рушилось, чтобы принять новый вид? Наконец, в какой мере образовало его исторический взгляд непосредственное наблюдение над одним из важнейших событий новой истории?

Карамзин был воспитан в идеях XVIII столетия, которые много способствовали французской революции.

Права человечества, основанные на законах природы, а не на искусственных условиях, свобода мысли и совести и свободные учреждения – вот те мечты, которые молодой путешественник вывез с собою еще из России и которые в его воображении приняли вид действительности, когда он очутился в стране республиканской. «Итак, я уже в Швейцарии, – писал он из Базеля, – в стране живописной природы, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама со-

бою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».

Но эта действительность очень скоро оказалась мнимой. Уже и Базельская республика не во всем Карамзину понравилась; что же касается до республики Женевской, то он увидел в ней наконец не более как *прекрасную игрушку*.

Идеал свободных учреждений остался идеалом; молодой мечтатель не переставал в него верить, но, как светлую цель, далеко отодвинул ее, когда лицом к лицу увидел недостойное для достижения ее средство, попавши, как человек, застигнутый врасплох, в самую сумятицу переворота, сквозь тяжелую атмосферу которого в тысяче грязных и бессмысленных случайностей не мог он прозреть в ближайшем будущем ничего утешительного.

Уже по самой организации своей нежной души не терпел он ничего насильственного, резкого, болезненного. Не мог он равнодушно слышать жалоб нищеты, и вид физического страдания в больнице до того поражал его, что долго потом стон больных отзывался в его ушах; самоубийство считал он страшным нарушением законов природы; во имя человечества готов он был уничтожить тюрьмы и в самой войне, даже в победе, видел только жестокую необходимость. Мог ли же он иначе, как с омерзением, относиться об ужасных сценах, которых он был во Франции очевидцем?

Потому-то так унылы и мрачны были его мысли, когда, направляясь от Лиона к Парижу, он бросает взоры на пло-

доносные поля по берегам Соны, мечтая об их первобытной дикости и опасаясь, чтоб опять когда-нибудь не водворилось на них прежнее варварство. «Одно утешает меня, – присо-вокупляет он, – то, что с падением народов не упадет весь род человеческий: одни уступают свое место другим».

То есть в необъятном горизонте исторического созерцания, в глазах будущего русского историка, – французская революция сокращалась до жалких размеров случайности, которая более имеет силу разрушающую, нежели зиждительную.

Именно в этом самом смысле касается он тогдашних событий – в письме из Лондона: «Здесь (т. е. в Англии) была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских, положило свою голову на эшафот! Какое остервенение в сердцах! Какое исступление умов! Кто полюбит англичан, читая их историю!»

Как человек образованный, он отдает справедливость французской монархии, столько совершившей для образования, и страшится приближающегося ее падения. Как последователь Жан-Жака Руссо, он любит человечество на всех ступенях общественности, но в уличных забияках, бессмысленных и бесчеловечных, не решается видеть представителей французской нации. «Не думайте (однако ж, – писал он из Парижа, – чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действу-

ет; все другие смотрят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива.

История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона».

Находя опору в том убеждении, что «всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, что в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудной гармонии, благоустройству, порядку и что *Утопия* (или царство счастья) может быть достигнуто только постепенным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов просвещения, а не гибельными, насильственными потрясениями», молодой русский путешественник в самом Париже, не смущаясь вспышками революции, продолжал учиться, и тем больше убеждался, что *науки* – *святое дело*, когда с прискорбием видел, как безумные мечтатели мирную тишину ученого кабинета меняли на эшафот.

Потому-то, оставляя Париж, он посылает ему свое прощальное приветствие: «Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностью! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный граж-



данин вселенной; смотрел на твое волнение с тихой душою, – как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море».

Эту краткую характеристику ничем приличнее не умею заключить, как словами русского путешественника из его последнего письма: «Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот *зеркало души моей, в течение осьмнадцати месяцев!* Оно через 20 лет... будет для меня еще приятно... Загляну, и увижу, каков я был, как думал и мечтал... По чему знать? может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах...»

История, милостивые государи, доказала, что «Письма Русского Путешественника» и через 70 лет не потеряли своего значения, и потомство нашло в них не одно приятное, но и много полезного.